

МЫСЛЬ О БУДУЩЕМ И ИМПЕРАТИВНАЯ ФОРМА РЕЧИ В ЛИРИКЕ ПУШКИНА

Движение лирической темы у Пушкина происходит во всех временных состояниях, времена свободно переходят, перетекают друг в друга. Впечатление временной свободы в стихах усиливается характерно пушкинской естественностью слова и интонации. На свободное движение пушкинской лирической мысли во времени обратил внимание одним из первых А. В. Чичерин, наиболее глубоко объяснив при этом роль императивного финала в «Пророке»¹.

Императивная форма речи в поэзии традиционна и традиционно условна. Поэты, которые стремятся в лирике к философским обобщениям, к познанию общечеловеческих истин, обычно склонны к императивности (Державин, Баратынский, Тютчев, Заболоцкий). Определенно характерен императив и для русской гражданско-публицистической лирики (декабристы, Некрасов).

В императивной форме мысли («пусть будет так», «поступай так») содержится некоторая поучительность, отголосок просветительской веры в слово, в его внушающую значимость и разумную силу. Но, когда поэт говорит «Молчи, скрывайся и тай...» или «... Не дорожи любовью народной...», «Не позволяй душе лениться...», его слово сохраняет лишь внешнюю форму урока, это урок без урока. Истина не навязывается, но проходит стадию лирического остранения и выражает сильное, концентрирующее обобщение. В императивной речи мы слышим и голос самого поэта, и многие другие голоса, в поэтическом слове появляется отголосок хора. Слово и мысль получают необязательный, но возможный ореол объективной истины. В такой форме лирика словно стремится преодолеть субъективное начало и приблизиться к истине эпоса.

Поэт же в таких случаях не предписания или нормы нам внушает, но говорит об одном из возможных объяснений или о возможном, желаемом разрешении противоречий, с которыми он столкнулся.

Пушкину пришлось больше других поэтов сопротивляться навальному, но тем не менее агрессивному назидательно-дидактическому восприятию искусства. Всегда иронически, но настойчиво и многократно спорит он с утилитарным пониманием поэзии: «Цель ху-

¹ Чичерин А. В. Пушкин. // Очерки по истории русского литературного стиля. — М., 1977. — С. 330—364.

дожества есть идеал, а не нравоучение (VII, 404)²»; «...о нравственности имеют детское или темное понятие, смешивая ее с нравоучением, и видят в литературе одно педагогическое занятие» (VII, 189). Отношение к назиданию поэт выразил однажды в пародийных стихах «В альбом Павлу Вяземскому»:

*Душа моя, Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то.
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный. (III, 38).*

Пользуясь термином В. Б. Шкловского, такие стихи следовало бы назвать острашением назидательности.

В лирике серьезной, непародийной спор поэта с современными и будущими читателями длился постоянно. Кульминация такого спора — стихи о поэте (особенно «Поэт и толпа», «Поэту», «Я памятник себе воздвиг...»). Можно было бы объяснить императивность многих стихотворений Пушкина именно полемической заостренностью и творческим одиночеством поэта (с конца 20-х годов и особенно в 30-е годы). Но такое объяснение было бы односторонним, тем более, что императивная форма речи в стихах неpoleмических у Пушкина встречается столь же часто.

Императивная форма в поэзии Пушкина непосредственно связана с мыслью о будущем. Она должна побуждать к достижению желаемого (слова, мысли, чувства, поступка) и, значит, выражает представление о желаемом будущем.

Особый интерес в нашем случае имеют стихи, где мысль о будущем была определяющей, особенно мысль о добром провидении и злом роке, о судьбе. В известном письме П. А. Вяземскому 1826 года из Михайловского поэт предлагает представить судьбу «огромной обезьяны, которой дана полная воля» (X, 207). Мысль о стихийности сил, управляющих человеческой жизнью, у Пушкина сквозная. Он, разумеется, осознавал невозможность овладения силами судьбы. В Болдинскую осень 1830 года поэт признает еще и возможность предвидения, но последнее слово оставляет за случаем, непредсказуемым случаем: «Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения (...) но невозможно ему предвидеть с л у ч а я — мощного мгновенного орудия провидения (VII, 144. Курсив Пушкина). Судьба, таким образом, в понимании Пушкина оказывается не вполне определенившейся, не закреплённой, а случай — проявлением свободной игры высших сил.

Пушкина влечет к себе особенно случай счастливый. Волю сча-

² Здесь и далее сочинения А. С. Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 тт. — М., 1962—1965. В скобках указаны том и страница.

стливого случая он реализовал в «Повестях Белкина»: А. А. Ахматова пронизательно поняла и объяснила, что счастливые финалы в них были «заклинанием судьбы»³.

Отголоски или преломление такого образа мыслей были и в лирике. Прямым обращением к добрым силам судьбы, святому провидению можно считать стихи декабристского цикла 1826—27 годов («19 октября 1827», «И. И. Пушкину», «Во глубине сибирских руд...»). Заклинание, мольба, просьба к высшим силам о помиловании эмоционально окрашивают стихи, и выражены эти мотивы императивно («Храните гордое терпенье...», «Да голос мой душе твоей/Дарует то же утешенье...»). Чтобы заглянуть в ближайшее завтра, поэт приостанавливает движение времени и стремится словом заклясть зло, пробудить добрые силы. Неявной верой в силу слова могли быть продиктованы и известные «Стансы» (1827), урок Николаю I. Ореол условности с императивной формы речи в этих случаях снимается, а желаемое будущее затем непосредственно конструируется в слове неимперативном («Оковы тяжкие падут...»). Когда речь шла о погибающих друзьях, поэзия подчинялась новой стилистике, поэтическое слово становилось молитвенным заклинанием судьбы, заклинанием добрых сил во имя спасения сибирских каторжников. Все личное отодвинулось, несчастье друзей стало личным страданием, а историческое бедствие — главным, личным событием.

С тех пор, с середины 20-х годов, поэт все чаще возвращается к мысли о самовластье рока, о слепых и злых силах, посылающих несчастье и смерть. И с этими силами он вступает в отношения противостояния.

Есть целая область пушкинской лирики этого времени, где главная мысль, о будущем, наиболее сильно выражена в лирическом замыкании темы, в концовке. Часть этих лирических размышлений и признаний касается только личного, человеческого и творческого существования, до порога смерти. Другая — о самой смерти, ее неизбежности, о будущем, которое он хотел бы предсказать. Продолжением и художественным преломлением таких предчувствий и признаний стали и стихи условно-фабульные, где поэт (или его герои: странник, Родрик, пророк) вступают в диалог с высшими силами, управляющими человеком.

Выделенные нами три группы разграничиваются очень условно. В нашем случае важны не различия, а внутреннее единство в пушкинских стихотворениях, единство в характере развития поэтической темы.

Стихи о будущем (это определение используем тоже очень условно) объединяются цельностью лирического характера, цельностью героя, который, вопреки рассудку, стремится словом, напряженным духовным усилием, порывом душевным подчинить себе самое судьбу; стремится понять и предугадать ее, подсказать провидению лучший вариант.

³ Ахматова А. А. О Пушкине. — Л., 1977. — С. 167, 200.

Конечно, поэт не мог чувствовать и осознавать себя пророком постоянно, всегда и безусловно, это было бы странно и главное — невозможно. Нельзя не учитывать, что в финале «Пророка» звучит слово не человеческое, а «бога глас», голос высшей силы, и он не подлежит человеческому суду и не подвержен человеческой рефлексии. Поэт объективирует эту знаменитую императивную концовку. Во многих других лирических решениях темы поэт меньше всего пророк, и на эту роль не претендует.

В 1828—30-е годы, переломные для Пушкина, созданы два стихотворения с заглавиями, символически характерными, связанными с мыслью о будущем, «Заклинение» и «Предчувствие». «Предчувствие» написано в момент критический, в состоянии сильного эмоционального напряжения:

*Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей? (III, 72).*

Вопросы заданы самому себе, но неясно, вопросы ли это, или это язык самовнушения, когда внутренняя драма достигла кульминации. Это речь человека, вступающего в спор с собой, со своим сомнением. Правда, уже во второй строфе патетика смягчена, и появилась надежда на милость судьбы. Но душевную устойчивость поэт находит не только и не столько в себе. Последняя, третья строфа стихотворения поразительна. На неясной границе между спасением и гибелью, счастьем и несчастьем, перед угрозой «завистливого рока», рождаются молитвенно нежные строки. И форма их императивная:

*Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменил душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней. (III, 72. Курсив Пушкина).*

Мольба обращена к женщине, спасительным представлен весь ее нежный облик, воспоминание о ней. Нас необъяснимо притягивает к себе одно из самых поэтических слов пушкинского времени и пушкинской поэзии — упованье (слово, здесь выделенное рифмовкой: упованье — воспоминанье). Женственный образ соединяет воспоминание (прошлое) и возможность желанного будущего. Прошлое воскресает в воображении как настоящее и свободно переходит в неясное будущее, неясное, но непременно светлое, счастливое. Мысль о будущем, о «завистливом роке» содержит и надежду, и сомнение, и веру в добро, и сознание зыбкости самой надежды. Б. А. Грифцов, автор книги «Психология писателя», очень точно заметил, что пушкинское творчество порождает «ни-

когда не разрешающуюся проблематичность»⁴.

Риторический вопрос «Сохраню ль к судьбе презренье?» не имеет, конечно, прямого, буквального значения. Пушкину определено свойственно внимательное, пытлиное всматривание в будущее, а не презрение к судьбе. Поэтому так необходимо ему упованье. Но и «сохранить к судьбе презренье» значило бы сохранить независимость, быть выше «завистливого рока». Поэтическая мысль двоятся, разветвляется, и только императивная концовка на мгновение скрепляет мысль и чувство в единство, и сохраняется надежда на добро.

Еще более нетрадиционно и необычно стихотворение «Заклинание», одно из самых «темных», по определению В. Д. Сквозникова⁵. Бросаются в глаза настойчивые императивные повторения, призывная и драматичная речь, и при этом явственное, очевидное сознание нереальности, неисполнимости желанного свидания. Все это создает в странном пушкинском стихотворении атмосферу почти мистическую, ритуально торжественную.

*Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда! (III, 193).*

С точки зрения рассудка, все слова и интонации в «Заклинании» бессмысленны, но стихи и прославляют именно неразумность. Здесь все вопреки рассудку, поэтому в словах победительная настойчивость, поэтому так динамичны повторы-заклинания. Это единственное (за исключением «Пророка») стихотворение поэта, где императивность речи столь решительна, нет признаков неуверенности в слове, и сам императив не имеет (в произносимых словах) дополнительного условного, сослагательного оттенка (хотел бы...). Стихи выражают очень определенное состояние духа, абсолютную решимость.

В «Предчувствии» и «Заклинании» раскрыты сложные и единственные в своем роде мгновения жизни поэта. Значительно чаще мы встречаемся в лирике 30-х годов с размышлениями поэта о будущем, не прикрепленными к конкретному эпизоду, конкретному времени и пространству. Л. Я. Гинзбург считает, что в 20—30-е годы Пушкин локализует время и пространство⁶. Внешне это именно так, общепризнано, что лирика Пушкина последних лет предельно конкретна. Но внутренний ее смысл сводится, скорее, к размыванию локальности. Мысль А. А. Ахматовой о победе поэта над временем и пространством имеет значение не только социальное и биографическое. Локализация времени в лирике Пушкина приводит к преобразению, сдвигу временных представлений. Поэт словно бы перепутывает временные категории, потому что стремится вы-

⁴ Грифцов Б. А. Психология писателя. — М., 1988. — С. 214.

⁵ Сквозников В. Д. Границы пушкинского стиля./Типология стиливого развития нового времени. — М., 1976. — С. 167.

⁶ Гинзбург Л. Я. Частное и общее в лирическом стихотворении.//О старом и новом. — Л., 1982. — С. 26—27.

рваться из монотонно поступательного и слепого, равнодушного к человеку временного потока. Мысль о будущем в этих условиях самая актуальная и необходимая, неизбежная, поэт почти постоянно к ней возвращается.

Только в сонете «Мадонна», единственный раз в лирике Пушкина, желание поэта всерьез сбывается, и потому все стихотворение, по смыслу, форме, тональности, похоже на благодарственную молитву. Для внутреннего мира Пушкина 30-х годов характерно другое. Надежда, упование, желанная мечта только обозначены, названы, иногда даже оценены, но стихи останавливаются в тот момент, когда желаемое произнесено. Остальное, и главное, решающее (быть или не быть) остается за непредсказуемой судьбой, провидением. Самые лучшие надежды, мысли и чувства отданы поэтом во власть стихийных сил. Показательна в связи с этим концовка стихотворения «Монастырь на Казбеке». Мечта выражена хотя и императивно, но таким образом, что изначально ясна ее неосуществимость:

*Далекий, возделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!.. (III, 141).*

Но это и мольба об идеальном бытии, в «соседстве бога». Стихи, таким образом, содержат и представление о начале вневременном, вечном, за пределами пути земного. Имеющая императивный оттенок просьба к судьбе (хотел бы) выражает и мысль о свободе (пусть иллюзорной), и одновременно личностное признание, скрытый плач человека, тоскующего на земле. В таких программно-утопических стихах сталкиваются и сосуществуют две смысловые волны: и простодушная, почти детская вера в реализацию нереального, и сознание ее невозможности.

Поэтическая мысль Пушкина в рассматриваемых художественных формах основана на подсознательном представлении, что происходящее в человеческой жизни зависит от некоей высшей причинности, сверхпричинности, разуму человека не явственной. Но именно такая неясность и, следовательно, незащищенность человека перед тайными силами и порождает протестующее состояние души и ума, когда поэт избирает, у края «бездны мрачной», хотя бы относительную свободу от вездесущей детерминированности. С исключительной настойчивостью и бесстрашием поэт был устремлен к такой свободе, чреватой, как он ясно понимал, несчастьями, и поверял себя ей.

Характерны итоговые стихи, где отмечен важный для поэта поворот в жизни, рубеж. «Элегия» 1830 года («Безумных лет угасшее веселье...») именно такая. Непосредственно в языке здесь нет императивной категоричности, но в конце заявлена жизненная программа, пожелания себе, эскиз будущего. Слова в финале «не хочу», «хочу» выпадают из сколько-нибудь известных условных

традиций. Эти стержневые слова, создающие антитезу, столь решительны, в них такой вызов силам судьбы, что вслед за признанием:

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,*

уже не кажется неожиданным пророческое слово «ведаю»:

И ведаю, мне будут наслажденья... (III, 178).

В какой-то момент концовка «Элегии» и в самом деле получает ореол колдовского заклинания. И все это, как ни странно, не отменяет и даже усиливает глубокую печаль и неуверенность перед будущим.

Очень близки к «Элегии» по тональности и совпадают по некоторым стилистическим признакам «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». Вопросы, заданные в конце силам природы, космоса, судьбы, завершены решительным и драматичным признанием «Я понять тебя хочу...» Сами вопросы интонационно равны требованию, в них опять-таки вызов, а в повторах пульсирует нелогичная, не разумом определяемая и от разума не зависящая волна тревоги, страха и надежды:

*Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?*

*От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь? (III, 197).*

Три года спустя создано стихотворение, в котором поэт пристально рассматривает возможный трагический вариант будущего, словно раскрывает перед тайными силами и тревогу, и надежды. В стихах «Не дай мне, бог, сойти с ума...» все особенности речи направляют развитие темы в область будущего. Создается двойное движение темы, смысловое и эмоциональное. Это и мольба, и молитва, и суровый, без иллюзий анализ возможного жизненного варианта (если... то...). Характерно, что императивность здесь, как и во многих других случаях, срастается с условно-сослагательными формами («Когда б оставили меня...»). Движение поэтической мысли приводит к мрачному итогу, к представлению о единственно вероятном, безвыходном, «тюремном» варианте:

*Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака... (III, 266).*

Снова перед тайными и слепыми силами раскрыты карты. Но поэт и здесь проявляет сдержанность и трезвость мысли, готовность к страданию. И, таким образом, все стихотворение — вызов судьбе, поэт и читатель переживают катарсис.

В рассматриваемом ключе следует воспринимать и стихотворение «Туча», которое оценивают как чистую аллегория, которое пушкинистами обойдено, а Л. Толстым и Тургеневым и вовсе осуж-

далось из-за одного, не понравившегося стиха. Между тем это стихи глубокие и очень пушкинские. Они замыкаются строфой с категоричным императивным зачином:

Довольно, сокройся! Пора миновалась... (III, 333).

Образы и мотивы динамично, стремительно сменяют друг друга: туча, лазурь, ликующий день, недавняя гроза. И все сменяющиеся образы прозрачны, сквозь них просвечивает момент неповторимой человеческой жизни. Поэт диктует темной силе уступить свету; ему удается передать слитное впечатление драматической минуты, мгновения и в природе, и в человеческой судьбе. Некоторая отделенность поэта от изображаемой картины и придает поэтической интонации уверенность и твердость.

Наконец, отметим еще один особый случай: в незаконченном послании «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», в прозаическом плане его продолжения, поэт мысленно проходит весь жизненный путь до конца, намечая желанный, не идиллический, но светлый его вариант. Ясно, что такое забегание вперед, в завтра, было потребностью пушкинской личности и потребностью его художественной мысли. Предначертанный план ближайшего и неблизкого будущего вычерчивается с пушкинской ясностью и стремительным лаконизмом: «...поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть» (III, 521).

До сих пор были рассмотрены стихи, в которых хотя бы отчасти затронут путь человека в пределах рождения и смерти, или на пределе жизни и смерти. Пушкину было свойственно бесстрашие ума, он не останавливается на границах бытия: условный, мыслимый порог между жизнью и смертью он поэтически разрушает или даже переходит этот порог, чтобы заглянуть за его пределы. Поэта глубоко волновала и самая возможность инобытия, и мысль о том, что будет на той же земле, но без него, после его смерти.

Два стихотворения с этой точки зрения характерны: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и «Вновь я посетил...». В стансах «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» развита мысль о неизбежной смерти, о подчинении ей всего живого. Все печально элегические варианты такой мысли поэт называет легким словом «мечты» и с поразительной свободой и некоторым, очень естественным для него спокойствием подчиняет разум и сердце жестоким законам природы, соглашаясь с ними. И. Анненский заметил в Пушкине эту особенность и определил ее как «болезненное целомудрие чувства, боязнь выявить перед толпой свой душевный мир»⁷.

Последняя строфа стансов непостижима для многих поколений читателей, она содержит как будто бы поэтическое оправдание смерти, оправдание — в форме в высшей степени неожиданной. Мы снова наблюдаем императивную форму, интонацию повеления, но повеления, в котором скрыто и остраненное, спокойное согласие:

⁷ Анненский Иннокентий. Пушкин и Царское Село.//Книги отражений.— М., 1979.— С. 317.

*И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть... (III, 136).*

Поэт закликает события и явления, которые состоятся и без него, без его слова, даже без вмешательства злых или добрых сил. Значит, ему удавалось, благодаря гармонизирующим свойствам его духа, осознанно включиться в непрерывный ход времени, физически ощутить его и подчиниться ритму времени. Здесь, в концовке стихотворения, поэтом высказаны не совсем его мечты или надежды; субъективному, личному началу в этот момент нет места. Мысль и чувство поэта движутся в едином ритме с волнами времени. Пережить такое состояние и высказать его в слове в русской поэзии удалось, очевидно, только Пушкину.

Близка по внутреннему значению и даже по эмоциональному пафосу к стансам «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» поэтическая мысль в стихотворении «Вновь я посетил...». В конце лирического размышления о времени и законах природы поэт конструирует возможное будущее, то будущее, когда он, поэт, уже уйдет, будет сметен потоком времени. Казалось бы, человеку, познавшему противоречия и жестокость своего времени, время «чужое» должно быть мало интересно. На наших глазах лирического героя словно бы захлестывает поступательное движение необратимого времени, и вот он уже вынужден уступить место внуку, который может услышать «приветливый шум» тех же самых, поэтических сосен. Мы сказали «может», но у Пушкина по-иному:

*...Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум... (III, 346).*

Поэт закликает самые силы природы и времени, он обращается к могущественному провидению на языке спокойно эпическом, почти бесстрастно, как будто у него есть уверенность, что будет именно так, а не по-другому. Личность поэта, природная стихия и волны времени соединены поэтом в едином ритме. В таком едином музыкальном ритме и заключена тайна поэтического обаяния Пушкина, утешительная эпическая умиротворенность многих его стихотворений, своеобразная магическая притягательность поэтической речи, выражающей мысли исключительные, далекие от общепринятых.

Исключительность и глубина художественной мысли Пушкина наиболее сильно, убедительно мотивируются и оправдываются в стихах о поэте (и шире — в теме поэта, объединяющей все его творчество). Тем интереснее и важнее заметить, что именно стихи о поэте содержат в финале императивные формы поэтической мысли, мысли общезначимой, глубоко и сильно обобщенной («Пророк», «Я памятник себе воздвиг...»); иногда императив пронизывает и весь текст («Поэту»). Пушкинские стихи о поэте и стихи о смерти и бессмертии, о сущности и цели бытия — явления внутренне родственные, единые.

Одна из самых глубоких мыслей Пушкина на тему о поэте и

поэзии — мысль о том, что поэтическая правда не соответствует правде рассудка. Наиболее прямо и внушительно, императивно высказана она в диалогическом стихотворении «Герой»:

*Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет,
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман. (III, 200).*

В форме полемической защищает поэт правду «возвышающего обмана». В стихах о поэте и поэзии пушкинский императивный язык повышенно категоричен: сомнения исчезают, он защищается от пошлости и бездуховности. Императивная интонация в такого рода стихах почти обязательна, она явственна и в диалоге «Поэт и толпа», и в гневных стихах, вольном подражании Буало, «Французских рифмачей суровый судия...». Пафос всех этих стихотворений един: это и стремление к независимости, и творческая свобода, и ответственность перед творческим даром. Императив часто в этих случаях обращен и к самому себе:

*Ты царь. Живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум... (III, 174).
Веленью божию, о муза, будь послушна... (III, 373).*

Выражен очень сильный, убедительный урок, урок высшей духовности, обращенный к псевдопоэтам, урок против суетности и бесстыдства произносится и от своего имени, и от имени почитаемого классика. Когда пушкинский поэт избирает роль судьи и обличителя, его гневный пафос сокрушителен и неотразим. В слове сливаются и голоса многих вечных истин, и его личный, пророческий голос:

*О вы, которые восчувствовав отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои спеша,
Постойте — наперед узнайте, чем душа
У вас исполнена... (III, 270).*

О поэте Пушкин говорит и судит так, словно обладает истиной, в которой никто не смеет усомниться. Нельзя забыть, что стихи о поэте рождены одновременно и из глубокой убежденности в нравственных истинах. Не будь стихов о поэте, проходящих через весь творческий путь, не было бы и каменноостровского, библейского цикла 1836 года.

Предтечей библейского цикла 1836 года были стихи, связанные с древним опытом человечества: и «Свободы сеятель пустынный:...», и «Подражания Корану», и «Пророк». Все они имеют в основе речь императивную. У Пушкина был глубоко личный интерес к древнему опыту нравственного существования. К «мощной древности» поэта притягивала и простота мысли, свободной, ясной и

наивной. Идиллию в древнем духе он определяет: «...простая, широкая, свободная» (VII, 267); о Карамзине замечает: «Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи» (VII, 133—134).

Повелительный глас высших сил определяет у Пушкина и смысл поэзии, имитирующей древность, в духе древности. В то время как литература декабристов придала стилю древности значение языка протеста, языка политического, Пушкин увидел в древнем языке, императивном, учительном, свободу мысли и духовную высоту древних. До такой высоты он и стремился подняться сам. Так в библейском цикле, в стихотворении «Мирская власть», в императивно-полемиической форме поэт отрицает суетное и кощунственное поведение земной, человеческой власти. Гневная, требовательная речь обвиняет всемирную и всеильную пошлость, духовное рабство. Истина нравственная внушается как бы незаметно, она пронизывает собою каждое слово. Стихотворение ставит только вопросы, оно и построено как цепь эмоционально нарастающих вопросов:

*К чему, скажите мне, хранительная стража?⁸
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитесь воров или мышей?
Иль мните важности придать царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию? (III, 366).*

Столь же победительно звучит императив и во второй части стихотворения «Из Пиндемонта», из того же, библейского цикла. Здесь выражена поэтическая программа, в форме, близкой к императиву: повелительную речь заменяет инфинитив, отчего и сама программа воспринимается очень взвешенной и до конца решенной:

*...Никому
Отчета не давать. Себе лишь самому
Служить и угождать... (III, 369).*

В поэтической молитве «Отцы пустынники и жены непорочны...», втором (по пушкинскому обозначению) стихотворении библейского цикла, нет прямо выраженной императивности, здесь мольба, просьба о духовной помощи в борьбе с собой, своей слабостью и греховностью. Именно потому пушкинское слово и обладает очищающей силой, что в нем выражен живой трепет сомнения в собственных силах и искреннее раскаяние:

*...дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.*

⁸ Курсив мой (Э. С.).

*Не дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи (III, 370).*

В библейском цикле поэт выразил программу духовной жизни цельного человека и высказал ненавязчиво, но сильно урок современникам, в том числе и современной власти. Но сильнее всего в библейском цикле отражена мысль о совершенствовании личности, и, значит, об идеальном будущем, уже не только для себя, и меньше всего для себя, но для каждого человека в отдельности. Есть в этих стихах чувство яростно сдержанное, и сознание сопричастности поэта ко всему человечеству, словно бы он ответственен за все времена.

Императивный язык в стихах фабульно-эпических — это еще одна, и очень самобытная форма пушкинской лирики 30-х годов, лирики, в которой поэт словно бы отбрасывает все временное и суетное и выделяет в человеке первооснову. Два стихотворения, «Родрик» и «Странник», созданы по мотивам известных литературных сюжетов (Р. Саути и Дж. Беньяна). Они имеют явно общий сюжетный мотив: герой томится духовной жаждой, ищет выхода и находит его в радикальной и неожиданной для окружающих перемене судьбы. И Родрик, и странник меняют образ жизни и начинают все сначала, находят путь к обновлению и возрождению личности.

В «Страннике» решение принято после встречи с неким юношей, указавшим (повелительной речью и жестом), куда идти и как поступить:

Иди ж/.../, держись сего ты света... (III, 344).

Сходный мотив и в концовке «Родрика», герою является во сне святой старец и повелевает:

Встань — и миру вновь явись. (III, 338).

Легко заметить, что оба случая имеют некоторые даже прямые совпадения со стихами цикла «Подражания Корану» и с «Пророком». Желаемое (путь к истине) высказывается прямо, речь вложена в уста божественных сил (или тех, кто ею обладает), и само решение судьбы принадлежит силам высшим, добрым силам.

Некоторая остротенность автора не отменяет его личной сопричастности к происходящему. Лирически окрашенное событие сообщается в форме «объективно-стесненной» (термин Томаса Манна). Возможно предположить, что поэт и к себе применяет взлеты и падения в судьбе героев, страждущих в поисках истины. Читатель допускает в стихах по меньшей мере двойное значение, и глубоко личное, и почти объективное, эпически повествовательное. Стихи эти для нас тем значительнее, что они отражают особые формы лирического самовыражения, близкие к эпосу, но не переходящие в него. Пушкину, по словам И. Анненского, свойст-

венно было «поэтическое самозабвение и самоотречение»⁹; что проявлялось и в своеобразном, эпически окрашенном лиризме 30-х годов. Произошло некоторое ослабление лирической субъективности, но непременно сохранялось лирическое единство текста, внутренний авторский голос, определяющий нравственное содержание стихов. Императивная и многоаспектная форма речи в поэзии Пушкина и была одним из проявлений такого творческого процесса.

⁹ Анненский Иннокентий. Пушкин и Царское Село. // Книги отражений. — М., 1979. — С. 319.

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

Межвузовский сборник научных трудов

**ПОСВЯЩАЕТСЯ
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЙМИНА**

Псков 1991